

ВАЛЕРИЙ ДАШЕВСКИЙ

ГОРОД НА ЗАРЕ



Валерий Дашевский

Город на заре

«Accent Graphics communications»

2014

Дашевский В.

Город на заре / В. Дашевский — «Accent Graphics communications», 2014

В сборник "Город на заре" входят рассказы разных лет, разные тематически, стилистически; если на первый взгляд что-то и объединяет их, так это впечатляющее мастерство! Валерий Дашевский – это старая школа, причем, не американского "черного романа" или латиноамериканской литературы, а, скорее, стилистики наших переводчиков. Большинство рассказов могли бы украсить любую антологию, в лучших Дашевский достигает Фолкнеровских вершин. Его восприятие жизни и отношение к искусству чрезвычайно интересны; его истоки в судьбах поэтов "золотого века" (Пушкин, Грибоедов, Бестужев-Марлинский), в дендизме, в цельности и стойкости, они – ось, вокруг которой вращается его вселенная, пространства, населенные людьми..Валерий Дашевский печатается в США и Израиле. Время ответит, станет ли он классиком, но перед вами, несомненно, мастер современной прозы, пишущий на русском языке.

© Дашевский В., 2014

© Accent Graphics
communications, 2014

Содержание

Город на заре	6
I	6
II	11
III	14
IV	17
V	21
VI	25
VII	29
Составитель примечаний	31
I	31
II	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Валерий Дашевский

Город на заре и другие рассказы

Книга выпущена благодаря помощи и содействию центра абсорбции новых репатриантов деятелей искусства и деятелей искусства вернувшихся из-за рубежа.



משרד העלייה והקליטה

בסיוע מרכז לקליטת אמנים עולים ותושבים חוזרים

Министерство абсорбции Израиля Центр абсорбции новых репатриантов деятелей искусства и деятелей искусства вернувшихся из-за рубежа.

Город на заре

I

Гора строительного мусора – битого кирпича пополам с обломками бетонных перекрытий внутри полуобрушенного остова старинного четырехэтажного здания с эркерами, французскими балконами и выгоревшими узкими окнами, была именно такой, какую искал Розенберг – высилась под торчавшими из стен балками, точно на дне колодца, и восходящая пустота над ней наполнилась сиянием утреннего солнца, бывшего в проемы окон. Велев рабочему ждать, Розенберг или Роза, как называли его в этом городе тридцать и даже сорок лет назад, осторожно поднялся на самый верх. Там он постоял, озираясь в клубившейся солнечной пыли – высокий мужчина в темных очках и легком плаще, уместном в это холодное лето. Все было так, как пожелал Фрей: модель – человек с собакой – должна была идти, оступаясь, по этим камням навстречу заре. Розенберг пошел назад, стараясь не вдыхать запахи гари и нечистот, преследовавшие его после Боснии, – Поехали, – сказал он, сильно заикаясь, рабочему, – Тут снимать запрещено, нужно разрешение – здание аварийное. Охраняется милицией, – Отнеси им двести долларов, – сказал Розенберг. Он вытащил бумажник, дал деньги рабочему, прошел за ограждения и сел в машину. Он не был в городе лет пятнадцать, с тех пор, как похоронил отца, и теперь разглядывал сквозь ветровое стекло полуразрушенные исторические здания, убогие вывески одноэтажных магазинов, высившуюся впереди башню собора (путь от вокзала в город, проделанный им сотни раз), и думал, что Фрей был прав: умиравший столько, сколько он помнил себя, город превращался в развалины, в гибнущий мир, из которого жизнь упорно не желала уходить. Для съемок нужны были нежилая квартира с высокими потолками, дверьми с разбитыми косяками, чугунной ванной у стены в большой комнате (так было в постановочном плане), подъезд с широкими лестничными маршами и подоконником у высокого окна в узкий двор (в таком доме на Рымарской вырос Розенберг); фотограф на пробы, студийный свет, аккумуляторы, визажист и модели – мужчина и четыре женщины возрастом за пятьдесят, которых Фрей намеревался снять в серии для Венецианского бьеннале иначе, чем Олаф,¹ о котором он рассказал Розенбергу – не старухами от *bourgeois bohemian*² в корсетах и в белье от Calvin Klein, а старящимися любовницами, живущими в развалинах прошлого. Так было написано в синопсисе³ и так Фрей объяснил Розенбергу, с легким раздражением глядя на его приоткрытый рот и не будучи уверен вполне, что здоровенный, с виду медлительный, Розенберг точно понимает, что от него требуется. Под конец он сунул Розенбергу журнал с «Mature» и несколько фотографий Лобанова.⁴ Это было не единственным поручением. Розенберг должен был повидать Ходоса,⁵ главу городской еврейской общины, передать ему письмо некоего Хильштейна и привести ответ. Розенберг часто выполнял поручения людей, которых не видел

¹ Эрвин Олаф (нидерл. Erwin Olaf Springveld) – известный голландский фотограф. Выставлялся в Европе, США, Канаде, Китае. Лауреат престижных международных премий в области рекламы и изобразительного искусства Работы часто откровенно провокационны. Таковы серии «Royal Blood» («Королевская кровь», 2000) и «Mature» («Зрелость», 1999) – портреты известных топ- и фотомоделей, какими они якобы будут спустя лет 40–50 (конечно, на самом деле это актрисы), все в тех же игривых позах и максимально открытых нарядах.

² *bourgeois bohemian*, фр. – русский богемная буржуазия

³ Синопсис – латинский синоним «*conspectus*» (конспект). Максимально краткое изложение съемки.

⁴ Руслан Лобанов – мастер современной эротической фотографии, Украина, Киев. Фотограф с мировым именем.

⁵ Ходос Эдуард Давидович – писатель и публицист, украинский общественный деятель, в прошлом глава еврейской общины в Харькове. Получил известность благодаря провокационным изданиям антисемитской и антиизраильской направленности в духе измышлений традиционного дореволюционного антисемитизма, антисемитской «конспирологии», разоблачений еврейских заговоров

в глаза, но исправно плативших деньгами или покровительством ему, рослому сильному мужчине, в котором, не смотря на возраст, было что-то мальчишеское – приоткрытый рот, вопрошительно-выжидательное выражение синих глаз на костистом, веснущатом лице – не вязавшееся со слухами о его занятиях: рэкетир и, как поговаривали, наемник, а теперь совладелец крошечного магазина, почти лавчонки в Хайфе, просиживавший перед ней дни, покачиваясь на стуле и провожая глазами женщин – загорелый, в шортах и кожаных сандалиях на босу ногу, точно зажиточный французский еврей из тех, кто в последние годы наводнили город. Он прожил в Израиле больше десяти лет, последние пять – с маникюрщицей марокканкой, некогда изящной, точно эбеновая статуэтка, а теперь располневшей и говорливой, равнодушный к ее стряпне, ярким платьям и тяжелым украшениям, толком не посмотрев страну, ни разу не войдя в синагогу. Радио и израильских газет (он кое-как выучился читать на иврите) ему было достаточно. Когда Фрей предложил ему работу, он рассудил, что охранять съемки и развозить девчонок лучше, чем торчать у магазина или на море. Он жил день за днем, не вспоминая прошлое, думая о нем не больше, чем о будущем – днями, исполненными праздности, почти не отличавшимися друг от друга – утренний шум мусоровоза, фонарь, горевший в светлевшем небе, полосатые отсветы на стене, на женском теле в постели, днем – неколебимый зной, нисходивший с синего неба на утопавшие в тропической зелени дома; вечерами – телевизор, виски, к которому он здесь пристрастился, шумные вылазки в Тель-Авив или в рестораны на набережной, изредка – партийные съезды, реже – свидания в глубине крошечных кофеин или в закоулках рынков с обросшими людьми в кипах или шляпах по шестьсот долларов, в взорванных грязных майках или рубахах, расхристанных по жаре.

Прошлое было тем, от чего он уходил, когда наступало время или место исчерпывало себя, будто расписавшись в том, что жизнь снова не оправдала надежд, не стоила затраченных усилий.

Пятьдесят лет назад, в кровь избитым мальчишкой он позвонил в дверь известного боксера, жившего неподалеку, а когда тот открыл, выдавил: – Я пришел, чтоб стать похожим на вас! – Эта пламенная искренность и святая вера в кулачную отвагу, как в способ одолеть жизнь в рабочем городе с тяжелым укладом, в котором долговязому еврейскому парнишке было лучше не уметь читать, чем драться, открыли ему двери в большой бокс. Розенберг не преуспел в нем; но в последующие двадцать лет ринг стал его жизнью, а зал в полуподвальном помещении, хоральной синагоги, ныне возвращенной городу – его alma mater. Он возлюбил этот мирок всей душой, больше дома, больше города, перестававшего существовать вне стен, на которых крепились пневматические груши и зеркала; ему он отдавал всего себя – запахам канифоли и пота, дроби и рокоту снарядов под забинтованными кулаками, боям и боли, которую он научился принимать так, чтобы тут же забывать о ней. Он понял, что пора уходить, дважды проиграв нокаутами, не поколебавшимися, впрочем, его духа, не поднявшись выше чемпиона Кубка Союза, республики и двух универсиад. «А, Роза! Привет, Роза! Как поживаешь, Роза?» – первые годы вне зала его хлопали по плечу и отходили, когда он силился ответить; потом он осознал силу молчания, так же, как позднее – страшную силу своих кулаков в жесточайшей уличной драке – молчания, действовавшего сильнее криков, угроз и доказательств. Именно эти качества – терпение и молчание – предопределили его судьбу в не меньшей степени, чем стойкость и способность без рассуждений принимать все, как есть, жить, как живется, пока жизнь давала такую возможность.

А потом мать умерла, промучившись полтора года.

Он продал машину и истратил на врачей, лекарства, фрукты и икру все, что заработал в фотопромысле, с цеховиками, выколачиванием долгов, не веря, что мать не спасти, слыша и не слушая ее свистящий шепот: – Леня, мальчик мой золотой, я прошу тебя, не надо этого ничего... ты же все понимаешь... Ну, зачем ты это делаешь, Ленечка?.. – После ее похорон он заперся в квартире, которую снимал на Павловом Поле, и напился до потери сознания,

не прежде, чем разбил о стену и разнес в щепы все, что попало под руку; сутки спустя он очнулся на цементном полу в вытрезвителе. А потом, точно продолжая трезветь, продрогший до костей, с чашкой дымящегося кофе, в застекленном летнем кафе посреди зимнего парка, он вдруг иначе увидел, осознал происходившее в городе в те последние месяцы, когда уходила мать – как если бы до него заново дошли все эти разговоры о выезде, сборах и проводах, словно не Акеры, Ицковы, Векслеры, Паланты, Вассерманы, Кривицкие, Плахты, Буховеры, Бухбиндеры – врачи, парикмахерши, профессора, инженеры, педагоги, преподаватели музыки, как его мать, ресторанные музыканты, мясники, ремесленники, тачавшие подметки и ключи, заправщики шариковых ручек на Пушкинской, а половина города, триста лет обустроивавшегося вокруг перепутий к морю и на Юг, в один прекрасный день снялась с места. Вначале он воспринял это, как отступничество, потому, что к матери приходили немногие из тех, кто, по его разумению, должен был быть у ее постели; немногие пришли и на кладбище; шел снег, и Ларочка Штерн, любимая ученица матери, плакала у него на плече. В ту зиму он раз за разом простаивал на платформе номер один положенные сорок минут, пока не отходил московский поезд в двадцать один пятнадцать – чуть в стороне от провожавших, в ратиновом пальто и ондатровой шапке – униформе центровых, больше не осуждавший выезд как трусость – как отречение от права считать домом место, в котором рожден, пусть право было ничем, принципом, от которого, тем не менее, не следовало отрезаться, как не следовало отдавать просто так нечто ценнее жизни, – не от того, что смерть матери примирила его с общей судьбой, а потому, что просил отец – помогал загрузить вещи в закупленные купе и говорил несколько слов от семьи, как того требовали приличия. Такими память помнила те годы: светыющимися окнами вокзала, ящиками и чемоданами на снегу, толпящимися на платформе людьми – вот к чему, к бурным сценами расставаний, к темени, в которую уходили поезда, вернули Розенберга несколько часов полета. Тогда же он познакомил свою девушку с приятелем, сыном футбольного тренера, получившим разрешение на выезд в США, будучи убежден, что так лучше для нее и зная, что с ним ее не ждет ничего хорошего: – Ты уедешь с Сашей. Там вы будете счастливы, Аня! – Нет. И не подумаю. Нет, слышишь! С какой стати? Я хочу быть с тобой! – Говорю тебе, так будет лучше. Это решено, – Кем это решено, тобой, Леня Розенберг? – Точно. Мной. И я говорю тебе: ты уедешь с ним. Ясно? – Он просидел у них на свадьбе в ресторане весь вечер, не показав вида, что знаком с ней, только к поезду пришел с охапкой роз и стоял, втянув голову в плечи, пока не осел грохот за умчавшимися в ночь вагонами. Весть о том, что они обосновались в Филадельфии, что там она Анна Суркис, от фамилии мужа и у них сын, догнала его в Западной Сибири спустя два года. Он с головой ушел в дела, работая на людей, для которых в «Интуристе» держали накрытыми столы и в чьих подпольных мастерских на окраинах шили из шубного меха-лоськута шапки вместо шуб, детские с оторочкой куртки – из болоньевой ткани, предназначенной для мужских плащей, сопровождал машины с товаром на рынки и ярмарки и пока с них шла торговля, курил с шоферами или играл по мелочи с местными, державшими рынок, в рюмочной или шашлытчиной неподалеку, чтобы машины были на виду. Его могли видеть в третьеразрядных гостиницах Урала, Сибири, Казахстана, в которых он снимал этажи для себя, бригадиров и бригад, и где, неделями валяясь в номере, принимал работу и составлял реестры на любительские, поломанные, затертые, надорванные, полужасвеченные и даже вклеенные в документы фотографии или выдавал, сверяясь с теми же реестрами, раскрашенные анилиновыми красителями, задутые лаком для волос, закатанные в целлофан портреты и семейные фото в паспарту, пересчитывая и пакуя деньги, что текли рекой, бескрайней и неизбывной как жажда жителей деревень, фабричных и заводских поселков, общежитий, запечатлеть и приукрасить то, что становилось единственной значимостью прожитой ими жизни; в спальнях вагонов поездов, одного в купе (распухшие от денег сумки под нижними полками) готового отбиться от уголовников, выслеживавших таких, как он; облокотившимся о дверцу автомобиля в предрассветной серой мороси, во главе каравана из десятка

машин, дожидавшихся сигнала с поста ГАИ, чтобы ввести в город сухую колбасу, икру, красную рыбу, арабский кофе, индийский чай, виски, сигареты Salem – все, чем южане затоваривались в валютных магазинах Москвы; или душной июльской ночью, на поляне за загородным кабаком, в компании таких же мужчин, по пояс освещенных фарами, у открытых багажников, набитых газетными свертками с деньгами, которые предстояло делить по уговору.

В городе он старался бывать пореже, оставляя отцу деньги и одаривая соседей. У отца, за которым присматривала Ларочка, он держал дубленку, плащ из турецкой лайки, кожаные куртки, сапоги, туфли, перстни, бостоновые и твидовые костюмы, батистовые рубашки, в которых засиживался за полночь в «Центральном», «Интуристе», «Театральном», за бархатными шторами «Люкса», за столами Сеганевича, Бори Рабиновича, Хана, расстрелянного пять лет спустя. Как-то он сказал отцу, что не будет приезжать какое-то время.

– Все будет, как прежде, – сказал он. – Обо мне не беспокойся. Я буду в Москве, в ночи пути. Напишу телефон, запомнишь. И вот что еще: Лара. Купи ей хорошую шубу и две пары сапог. Вот деньги. Тут хватит.

– Почему ты не подаришь ей сам?

– Ты знаешь, почему. У меня она не возьмет.

– Она приходит сюда из-за тебя, Леня, – сказал отец. – Она...

– Пусть, – сказал он, – и что теперь? Что она знает обо мне, папа? Кто я, что я умею, по-твоему? Бить людей и загонять их в работу? Подойдешь с ней в Комиссионторг, к директору, Маре Борисовне. Скажешь – от меня. Вам все выберут.

– Ты знаешь, как была бы счастлива, мама, если бы ты и Лара...

– Ну, хватит, – сказал он. – Извинись, что не сумел с ней проститься.

Через полгода, он нашел работу в Москве, по случаю, до полусмерти избив в одном из ночных заведений компанию из восьми мужчин, предварительно уложив вышибалу и бармена. Владельцы наблюдали за происходящим сквозь тонированные окна кабинета на втором этаже.

– Кто он такой, черт возьми? – спросил первый.

– Я его знаю. Это Роза, залетный. Спортсмен, но при делах. Стоял в доле в кафе на Горького у Кедруса с Кашубой. Бывший боксер.

– Бывших боксеров не бывает, – сказал первый, глядя в зал, где разворачивалась настоящая драма насилия. – А эти терпила откуда?

– Люберецкие.

– Понятно, – сказал первый. – Когда он закончит с ними, попроси его подняться сюда. Хочу, чтобы он на меня работал. – Он повернулся к своему огромному столу.

– Он еврей, – сказал второй.

– Неужели? – сказал первый.

Вначале были пивные рестораны со спорт-барами и дискотеки на Полянке и Крымском Валу,⁶ потом – обменники и игровые автоматы Vally и ЮТ в расселенных квартирах первых этажей (позже ставших банковскими отделениями), в павильонах у вокзалов, рынков, переходов метро – пыльные стекла снаружи, внутри – светящихся неонов в струящемся алом сумраке ряды барабанов и панелей ставок. Он, как всегда, отвечал за безопасность, работая в доле или за деньги; и теперь сам почти не сидел за рулем; и рестораны теперь были другие – «Союз», «Архангельское», «Метрополь», «Дома туриста» или Центра международной торговли, с панорамными окнами, выходившими на простершуюся до горизонта Москву, преобразенную ночными огнями, серую, сырую и мрачную днем, под свинцовым небом, с толпами, очередями, грязными стенами метро, над которыми жизнь внезапно вознесла его так, как ему не снилось. И окружала его публика почище – дельцы, министерские чиновники, главы грузинских и армянских кланов, милицейские чины, актрисы, содержанки, секретарши посольств, чьи лица не

⁶ Полянке и Крымском Валу-улицы Москвы.

сохранила память, и с настоящими деньгами в его жизнь вошли женщины, разные, у которых общим были самомнение, алчность, умные опытные руки и роскошные тела – прошли сквозь те годы, которые потом, при всем желании, память не разложила бы по месяцам и дням, так летело время. «Печору», «Ангару», «Метелицу»⁷ перестраивали под казино, банки возникали на каждом углу, и день за днем оправдывалось и узаконивалось то, за что прежде карали и казнили окружавших его людей; и у него самого появился шанс открыть собственное дело, на широкую ногу, от которого он отказался тут же, твердо помня, что он один в Москве, один всегда и во всем, что он еврей и пришлый, пусть он спал и был распisan с москвичкой, владевшей косметическим салоном на Тверской, и ладил с ее мальчиком. Он, как обычно, вошел в долю, не чинясь, взвалив на себя большую часть рабочей ноши, и к спортзалу, куда он захаживал, чтобы держать форму, добавились тир и автодром, курсы английского языка, а к книгам по устройству игорных автоматов и оборудованию казино – пособия по полицейским вооружениям.

Эта жизнь была по нем; он трудился до седьмого пота, выкладываясь, как мальчишка, когда, бывало, лежал пластом на скамейке в раздевалке; и снова от него требовалось знать, кто чем дышит, проверять всех и вся, расставлять по местам, присматривать, выслушивать, пересчитывать и сверять, все на коленке, все молчком, разговаривая только по необходимости, потому что слова так же давались с трудом и в кабинете и в гаме узаконенного разгула и в звенящей тишине перелеска у заброшенного шоссе за окружной дорогой, где только и можно было без боязни говорить с людьми, от которых зависели дела; а после, один в машине, он замирал, вдыхая крепкий, почти осязаемый запах леса – сырой земли, прелых листьев и росной свежести, и память властно возвращала к родным местам, к промытым улицам, к утренней дымке, повисшей над городом, к пойме реки и тренировочному лагерю в сосняке, прокаленном солнцем, к простору, к боям, к сильным минутам жизни, когда клочок земли с понастроенными заводами и узловыми станциями, да улицами, засаженными каштанами, был домом, а родиной – вся земля.

А потом, таким же погожим утром он услышал от человека, пересевшего к нему в машину то, что ожидал услышать раньше или позже: – Беги, Леня. Немедленно! Машину брось. И выбрось телефон. В доме у тебя обыск, найдут и контрабанду и наркоту. Партнер твой, Саша Серебро, застрелен при сопротивлении аресту, второй у нас, переписывает на правильных людей ваши бумаги. Розыскные карты в аэропортах на тебя выставят часа через четыре, если выставят. Советую лететь в Белград, оттуда сейчас не экстрадируют. Если хочешь черкнуть пару слов супруге, я подожду. Прощай. Ты хороший человек! Жаль, что так вышло.

⁷ Печору», «Ангару», «Метелицу» – названия кафе на бывшем Калининском проспекте (ныне Новый Арбат) в г. Москва, перестроенных под казино в годы перестройки. 1991–1992 гг.

II

Он не раздумывал над тем, каким будет свидание с городом – с прошлым, которыми и был город, – жившим своей жизнью после его отъезда и похорон отца (впрочем, четыре дня похорон и три недели, пока он продавал квартиру, в счет шли), и теперь со смешанным чувством тоски и удовлетворения увидел то, что и ожидал: упадок и разрушение, кирпичные фасады в трещинах, обвалившиеся балконы, листы железа и шифера, заграждения из крашенной сетки-рабицы, ржавые гаражи, сорную траву, там и сям выбившуюся из тротуара, просевшие бордюрные камни. Помнился заколоченный дом на кривом спуске за синагогой, оказавшийся Анатомическим театром женского медицинского института, сводчатая пустота и холод подвалов, где он, мальчишкой, искал местечко, более укромное, чем скамейки парков и подъезды – упадок и разрешение, созвучные неприкаянности, безденежью, юности, промозглым вечерам, когда и податься было некуда; но мысли бежать тоже не было, только неукротимое желание возмужать и одолеть жизнь, какой он представлял ее, благо, примеров было предостаточно.

– Есть дом на Полтавском шляхе, – говорил рабочий. – Тоже пострадал, в нем если что затевать, так только на первом этаже... На площади Фейербаха есть дом двенадцать, годящийся. На продажу выставлен. Знатный дом. Договорился там с людьми о ключах. От них должен быть представитель. На Черноглазовской есть, нежилой, окна на двор... Те тоже будем смотреть?

Розенберг кивнул.

Дом на площади Фейербаха выглядел подходящим – двухэтажный особняк в псевдоготическом стиле, с двумя треугольными фронтонами, прорезанными готическими окнами, готическим треугольным эркером, краббами, медальонами и рустровкой по фасаду. Внутри царил полумрак; звуки города тут были почти не различимы, точно изжиты застывшей тишиной покинутого жилья, и Розенбергу, переходившему из комнаты в комнату, вдруг стало не по себе. Он остановился, как вкопанный, посреди пыльной полутемной гостиной, пытаясь понять, что именно не восстанавливает и отвергает память. Затем вышел наружу.

– Устраивает? – спросил представитель.

– Да, – сказал Розенберг.

– Если не найдете аккумуляторы, накинем клеммы на провода, – сказал рабочий.

– Нет необходимости, – сказал представитель. – Здание обесточено временно. Просто откроем щитовую. В котором часу?

– Пока не знаю. Позвоню вечером, – сказал Розенберг.

– Деньги не забудьте.

– Конечно.

– Ваш человек говорил, вам нужно ванну занести в квартиру на первом этаже?

– Правильно. Он купит и привезет вечером. Деньги я дал, – сказал Розенберг.

– А после как вы с ней думаете?

– Вот он заберет. Или оставите себе. Решите сами.

Было около девяти утра. Он позавтракал в гостинице. Потом пересек площадь и вернулся в номер с бутылкой Label 5. День был не по-летнему прохладный, солнечный. Город казался вымершим – как те безлюдные, заброшенные поселки и селения, когда чудилось, что само место, небо и дома, сторожат каждое движение. Его коробило убожество аттракционов на площади перед гостиницей – размалеванных прицепов, горок из розового пластика, надувных замков и батуты; перед отлетом он слышал от кого-то, что городская площадь, вторая по величине в Европе, отдана под ярмарки окрестных сел с площадями и балаганами; это оскорбляло память молодости, неизжитые представления о прошлом.

В номере он присел к письменному столу, открыл папку с номерами телефонов, хранившуюся в ящике, и позвонил в ресепшн. Ему ответили, что принимают объявления для газет и кабельных каналов. Бланки на стойке. Что-нибудь еще, господин Розенберг?

– Мне нужен фотограф, – сказал он. – Хороший. И расторопный. Поможете найти такого?

– С нами работает фотограф. Снимает делегации, прогулки, праздники. Подрабатывает у нас. Милый парень.

– Отлично, – сказал Розенберг. – Жду его в холле завтра в десять утра.

По городским меркам номер был прекрасным, но его теснота раздражала Розенберга.

Ему не терпелось выйти на воздух.

Он решил пройти пешком до Новгородской, оттуда – на Авиационную. Путь его лежал мимо тихих сонных улиц, где когда-то жили Файтлин, его одноклассник, разбившийся, когда перегонял свою первую машину из Тольятти; тетки по матери, две старые девы, казавшиеся в детстве феями добра, англomanки, завещавшие ему квартиру, которую он так и не получил; его учитель живописи и истории средних веков, кумир школы, уехавший одним из первых. Ничего не изменилось в каменном безличье серых домов, в затененности улиц, ставших лабиринтом воспоминаний; но жизнь, к которой предстояло вернуться – кладки стен, вывески на иврите, семисвечники и серебро в полумраке синагог, зной, люди в черных шляпах и допотопных сюртуках, болтающиеся нити талесов, гортанная речь и мраморные облака – не отпускала, заставляя чувствовать себя пришлым.

Двухэтажный, крытый красной черепицей, особняк стоял за кованным забором.

Перед отлетом Розенберг просмотрел о Ходосе все, что было в сети, без мысли разобратся в какофонии измышлений, обличений, лжи и откровенной паранойи, а пытаясь понять, к кому его посылают.

Барон Эдуард Ходос написал двадцать пять книг, обличающих хасидов Хабада, вел с ними войну на моральное уничтожение; призывал создать православную монархию с костяком из казачества. Книги назывались «Топор над Православием» «Пришествие Иуды», «Еврейская рулетка» и «Еврейский удар, или Монолог с петлей на шее» и расходились с невероятной быстротой, как писали в сети. Ходоса приглашали на конференции «для обсуждения проблем мирового сионизма»; памфлеты и газету «Тихий ужас» он печатал за собственный счет и раздавал у входов в метро. Писали, что он владеет потрясающими произведениями искусства, что в молодости сидел, но был оправдан. Он участвовал в реституции синагоги,⁸ в подвале которой прошли юность и молодость Розенберга, со своей реформистской общиной занял в ней, было, второй этаж, не поделил ее с хасидами Хабада с первого этажа, проиграл им суды, был изгнан и теперь боролся с «иудео-нацистской сектой Хабад» и всей иудейской традицией.

Ходос принял Розенберга в талесе поверх черного тканого халата, в кресле из убранства синагоги, в гостиной, походившей на дирекцию театра. Розенберг сел за обитый кожей стол, без стеснения разглядывая занавес вдоль стены, старинную мебель, столешницу с фотографиями, резные полки, переплеты фолиантов.

Взяв письмо, Ходос, стриженный наголо человек лет шестидесяти, с минуту разглядывал Розенберга.

Потом сказал:

– Так. Розенберг. Наслышан.

Он помахал письмом Хилынейна.

⁸ Харьковская хоральная синагога, архитектурный стиль неоготика, мусульманский стиль, крупнейшая на Украине и в СНГ и вторая по величине в Европе после будапештской. Еврейское название – Бейт Менахем, центральная синагога и архитектурный памятник в Харькове, возведена в 1912–1913 годы, была закрыта в 1923 году «по просьбам еврейских трудящихся». В ней разместили «Еврейский рабочий клуб имени Третьего Интернационала», с 1941 г. – детский кинотеатр. В 1945 г. в синагоге возобновляется деятельность еврейской общины, однако в 1949 г. её закрывают и по осень 1991 г. в здании находилось Добровольное спортивное общество (ДСО) «Спартак».

– Правильно делает этот еврей, что не доверяет вашей фашистской почте. Мерзавцы. Спят и видят, как со мной разделаться! Читали против меня молитву «Пульса де-Нура»¹⁰! Тебе об этом известно, Розенберг? Тебе рассказывали, кто я такой? О моей борьбе с еврейским фашизмом? Что ты вообще знаешь, Розенберг?

Он углубился в чтение.

Лицо его, задумчивое, непреклонное, хранило отпечаток неистовства, как хранят отпечаток несмирненности и былой ярости лица старых вояк, просветленного отсутствия – лица бородатых ортодоксов, столь ненавидимых Ходосом.

Разглядывая его с легкой усмешкой, Розенберг в который раз почувствовал себя отступником, не способным проникнуться духом еврейства: с Израилем его роднила кровь, с городом – жизнь.

– Что тебе сказал Хильштейн? – спросил Ходос, не отрывая глаз от письма.

– Забрать ответ.

– Я напишу ему, – сказал Ходос.

Теперь он снова смотрел на Розенберга.

– Ты должен понимать, в каком мире живешь, Розенберг, – сказал он. Говорил он негромко, однако, лицо его осветилось так, будто неистовство, отметившее его, разом обрело плоть и голос. – Среди кого ты живешь! Смотри на меня. Я несу Слово и живу без страха. Мои книги – молитвы на освобождение от проклятого ига иудео-нацизма, надругавшегося над Правдой Божьей! Раввины подсунили народам свет иудейской веры вместо Света Истины. Я признаю богоизбранность народа иудейского, раз в нем рожден Сын Божий, чтобы отвратить еврейский народ от бесовства. Я – кровник Спасителя, мстящий его палачам! Моя еврейская месть беспощадна! Ты слышишь меня, Розенберг? Вот ты. Ты, говорят, что-то можешь. Израиль твой дом? Для чего ты живешь? Кто ты?

– Никто, – сказал Розенберг. – Когда-то жил здесь. Ходил в вашу синагогу. Тогда она синагогой не была.

– Она всегда была синагогой.

– Нет, – сказал Розенберг. – Но неважно. Я наведуясь перед отлетом.

Он поднялся и пошел к двери.

– Погоди, – сказал Ходос.

Он вышел из комнаты и тут же вернулся.

– Возьми, – сказал он Розенбергу – Прочтешь на досуге. – И сунул ему в руки несколько своих брошюр.

– Оставьте себе. Я не читаю на русском. Это еврейские дела, я в них не смыслю, мне они не по уму.

– Ты должен понять, кто ты. И для чего ты живешь, Розенберг! – повысил голос Ходос у него за спиной.

Розенберг неторопливо обернулся, заполнив собой дверной проем. Выражение его лица изменилось. До сих пор он был уверен, что разговаривает с городским сумасшедшим. Он внимательно посмотрел на Ходоса, прежде, чем ответить:

– Да. Было бы неплохо. Жаль, время ушло. С этим надо было заводить раньше, рав Ходос.

III

Было двадцать минут первого. Полдень был с самым разгаре, солнце в белесой дымке стояло почти отвесно.

Он направился к проспекту, шагая вдоль тени разросшихся лип.

Объявления о съемках были оплачены им на радио и кабельных каналах, в семичасовом блоке. Звонков можно было ждать до полуночи. Как бывало, ближе к полудню ему хотелось выпить, но оставалось дело, которое он откладывал, пока мог, точно вознамерившись разом избыть все, досаждавшее ему годами, и вернулся в город ради этого.

В номере он достал из чемодана ноутбук и позвонил, чтобы его подключили к сети.

Когда служащий ушел, он задернул шторы, снял туфли и носки, и налил себе выпивки.

Потом расположился поудобней в кресле и вошел в скайп.

– Привет, Леня, – сказал Алекс Сур кис в Филадельфии, когда их лица проступили на экране. На нем был пиджак, галстук-бабочка, белоснежная рубашка, роговые очки.

– Куда-то собрался?

– Да нет. Я пока в офисе, через час поеду домой.

– Что там у тебя с Аней? Что происходит? – спросил Розенберг.

– Скверно, Леня. То есть, в медицинском смысле с ней все в порядке. Она перенесла две операции, у нее удалены почка, матка, ее облучали, и скажу я тебе, спасти ее могли только в Штатах! Она все перенесла и здорова, на сколько можно быть здоровой после всего... Но ведь она сумасшедшая! Она совершенно сошла с ума, и вменить ее не в моих силах! Ее как подменили, понимаешь? Купила себе последнюю модель BMW, потом улетела, будто бы по делам, а две недели спустя мне позвонили из Рима. Она сняла президентский номер в Ambasciatori Palace, швырялась деньгами, как ненормальная, накупила гору вещей на десятки тысяч долларов. Мне позвонили из-за неоплаченных счетов! Пришлось лететь туда, забирать ее. Она не желала уезжать, кричала, что хочет жить, жить, жить! Я пытался ей объяснить, что она пустит нас с сыном по миру, но она ничего не желала слышать! Она возненавидела меня, мне кажется! Я перестал ее понимать. Через месяц все повторилось! Мы заложили дом, чтобы расплатиться по долгам, но на нее это не подействовало. Ей совершенно все равно! Со мной она говорит только о счетах. Только! Пить ей нельзя, но она выпивает, тут же отключается, а потом не помнит, что было. Я пытался ее удерживать, но она приходит в бешенство и кричит мне в лицо страшные вещи! Развестись с ней, я, сам понимаешь, не могу, лишитесь ее дееспособности тоже не могу; ее тут же запрут в клинику. Не знаю, что с нами будет. Она не оставляет мне другого выхода. Теперь она впадает в отключку где угодно, просто гаснет, как лампа, и все. Ее стало опасно отпускать. погоди, покажу тебе!

Он поднес к экрану мобильный телефон, и Розенберг разглядел в нем женщину в кожаной куртке, спящую в вагоне подземки, безжизненностью, поникшей головой в желто-синем парике напоминавшую куклу.

– Ну как? Тебе хорошо видно? – спросил Соловьев. – Такая теперь наша Аня. Как она тебе?

– Что ты решил? – спросил Розенберг.

– Что я могу решить? Еде у меня выход, Леня? Я должен зарабатывать деньги. Мы в долгах. Я должен буду давать ей деньги, если разведусь, но грабить нас она не сможет!

– И ты решил поместить ее в клинику?

– Хочешь сказать: у меня не хватает духа с ней развестись? А ты бы что сделал? Оставил бы все, как есть?

– Может быть, – сказал Розенберг.

– Ты бы, конечно, ее не бросил.

– И ты не бросишь, – сказал Розенберг. – Это уже ненадолго.

Он закрыл верхнюю панель ноутбука, отхлебнул виски и пересел на кровать. Потом лег навзничь, поставив стакан на живот. Час спустя, он все еще смотрел, как солнце просвечивает шторы. Потом перевалило за полдень. Вслух он сказал: – Это все ее болезнь! – думая: «Еще неизвестно, как бы все обернулось. Со мной ей было пришлось еще хуже!», хотя было ясно, что хуже некуда.

Он был на четыре года старше ее, и тогда это имело значение. Высокая, под стать ему, со смуглым румянцем, черными волосами, распущенными как у итальянок в фильмах тех лет, она была еврейкой, и это тоже имело значение, потому что тогда он еще стеснялся женщин; то, что она такая яркая, так хороша собой, приводило его в восторг, но больше льстило самолюбию. У нее была округлая налитая грудь, крутые бедра, плоский живот и линия спины и ягодиц, при виде которой у него пересыхало в горле. Она ходила на его бои, ждала его там, где он велел, бежала рядом, подлаживаясь под его широкий шаг, смотрела на него в упор полными решимости глазами, но он так и не переспал с ней из боязни последствий и про себя зная, что она не по нем, хотя несколько раз они были, что называется, на грани. Потом его пригласили ее родители и попросили не портить дочери жизнь. Позже ему сказали, что Арановичи собрались уезжать.

Все это память знала, не сохранив почти ничего зримого в несметной сутолоке событий, лиц, голосов; воспоминания о ней всегда были обрывочны и внезапны; тело ее он не мог вызвать в памяти, как не пытался, да это и было ни чему. Прошло больше тридцати лет, она прожила жизнь, о которой он давно составил себе представление, близкое истинному, – но и только. Точно шадя его, память не помнила почти ничего из того, что касалось женщин: переживаний, ссор и телесной близости, того, чему он отдавал себя, на что растрчивал, чем овладевал, что губил. Он даже лица ее не разглядел – и, тем не менее, в углу подземки спала Аня Аранович, которая хотела жить и жила, покуда жил и дышал он сам, помнивший ее полуоткрытые губы, опушку серого зимнего пальто.

Теперь ему казалось, что все это было не с ним. То время, сполна им оплаченное, было и кануло, как кануло другое, которое он тщился забыть и не мог, как ни старался: туманные утра, мёртвую тишину гиблых мест, обращенных в захоронения, рыжие осенние леса, горные склоны, поросшие сосняком и припорошенную снегом землю; смрад; горевшие в ночи поселки и дома, выгоравшие изнутри, как угли; сломанные койки брошенных госпиталей; битое стекло и крошево; трупы на улицах, в квартирах и подвалах; названия населённых пунктов Хорча, Власеница, Приедор, Босански-Нови, оставшиеся на внутреннем слухе; грохот тяжелых орудий; дым, валивший над крышами Мостара;⁹ душевную немоту в бою, которую считали хладнокровием, и такую пустоту после, которой даже он страшился, не пытаясь понять. Первое время, боясь себя, он остерегался пить, потом прошло и оно. Он прибыл с Сербии из Черновцов, через Мукачево и Будапешт, в августе девяносто второго, спустя неделю после провозглашения независимости, как оказалось, одним из первых, почти не понимая язык, но веря, что его не выдадут; два года воевал в разведывательно-диверсионных группах, с прибывавшими из Европы и России ветеранами войн, Афганистана, Чечни, Приднестровья, с людьми,

⁹ Осада Мостара, Боснийская война. Мостар (боен. Mostar, серб. Мостар, хорв. Mostar) – город и община в Боснии и Герцеговине, административный центр Герцеговино-Неретвенского кантона в Федерации Боснии и Герцеговины 18 ноября 1991 г. филиал Хорватского демократического содружества (ХДС) в Боснии и Герцеговине провозгласил существование хорватской республики Герцег-Босна на территории Боснии и Герцеговины. Мостар был разделен на западную часть, в которой доминировали хорватские силы, и восточную часть, где было сосредоточена армия Республики Боснии и Герцеговины. 9 мая 1993 года Хорватский совет обороны (ХСО) атаковал Мостар с использованием артиллерии, минометов, тяжелых вооружений и стрелкового оружия, город был окружен хорватскими войсками в течение девяти месяцев, большая часть исторических сооружений была уничтожена артиллерией. Силы ХСО изгнали тысячи боснийцев с западной стороны в восточную часть города, участвовали в массовых расстрелах, этнических чистках и изнасилованиях в западном Мостаре и его окрестностях. Кампания ХСО привела к тысячам раненых и убитых.

не обустроенными в жизни, как и он сам впервые взявшими в руки оружие, Республика Сербская стала убежищем тем, кому не к чему было возвращаться. Ему, укrywшемуся среди них, помогло, что он был старше их, что говорил с трудом и что в деле не военном был всех их опытнее и опаснее; неучастие в общих разговорах, и то, что он ничего здесь не ждал и не хотел, действуя внимательно, расчетливо и уверенно, как если бы переменился характер работы, но не сама работа, которую он делал всегда. Он видел, что сербы их используют, но такова была цена. Он был здесь «русским», носил крест, купленный по случаю, отмалчиваясь, если спрашивали, что за воюет. Иногда он думал, что мог бы укрыться проще, безопаснее, про себя зная, что это не так. Ему везло. Он участвовал в девяти акциях и ни разу не был ранен. Однажды он разбил пистолетом лицо пленному. Месяц спустя, стоя на морозящем дожде и глядя, как сербы расстреливают наемников-арабов, понял, что с него довольно. В школьном кабинете, служившем штабом его отряду он положил автомат на стол перед командиром. Тот вскинул глаза. «Возвращаюсь домой, отец плох». – сказал Розенберг.

Его не удерживали.

IV

Фотограф был молод.

Он сел напротив Розенберга в вестибюле гостиницы, выдержанном в медном и малиновом тонах, взял бумаги Фрея, журнал и фотографии, и принялся просматривать их, зацепив дужкой темные очки за отворот расстегнутой на груди рубашки.

Потом уставился на Розенберга.

– Это Фрей писал? – спросил он. – И вы хотите, чтобы я снимал для Фрея? А сам он где?

– В Риме. Прилетит через два-три дня.

– Ладно, с этим понятно! А вы, значит, отсмотрели площадки и объявили кастинг? Вы – фотопродюсер у Фрея, фотограф?

– Нет.

– Тогда почему он поручил это вам?

– У меня много свободного времени, – сказал Розенберг.

Фотограф засмеялся.

– Вы правы, – сказал он, – это не мое дело. Итак, у нас площадки – Театральный переулок, «Крыша Мира»,¹⁰ площадь Фейербаха двенадцать, Рымарская шесть или дом четыре на Красина, парковая скамья, мост и железнодорожные пути. Ну, хорошо! Скамью мы отснимем в парке Горького. Мост и пути отсмотрели? Мост я бы снял железнодорожный, что на Белгородском направлении. Полуразрушенный, с просевшей платформой, этаким забытый полустанок от советских времен... Еще есть мосты – на Диканевке и на Новожанонова, тоже железнодорожные, вот те хороши! Фантастические мосты! Мрачные, даже устрашающие, проложены над заводскими стоками, кругом – ни души... Ландшафт, который жаждет увидеть мистер Фрей, если я правильно понимаю задачи съемки. Впрочем, отснимем, предложим... Модели – люди пожилые, портфолио, разумеется, ни у кого нет. Так что снимем тестовые фото, сюжет-события и проходы. Свет мой, машина моя. Ну что ж. Я попрошу тысячу шестьсот долларов за эту великую мороку.

– Тысяча двести, – сказал Розенберг.

– Не пойдет! Нужно снимать на пяти площадках. И не это главное. Большие проблемы я предвижу с вашими возрастными моделями. Вы указали в объявлениях, что съемки без ограничений и им придется позировать раздетыми?

– Хорошо. Тысяча триста. Бери или уходи.

– Ладно, тысяча триста. Теперь – визажист. Есть такой, профессионал, с переносной визаж-студией, как раз, чтобы снимать в руинах. Прекрасное название, кстати: «Зодчие руин»... Поступим так: я сейчас съезжу за светом и прихвачу аккумуляторы, на всякий случай. Вы назначили кастинг на два, а сейчас десять. Два часа, считайте, в нашем распоряжении. Можно проехаться, щелкнуть мосты. Вернемся – заберем мужскую модель и снимемся в Театральном переулке. Остальные погуляют час. В три начнем съемки на Фейербаха. Я обернусь мигом, позвоню снизу. И вот еще что: хорошо бы часть денег вперед. Хотя бы пятьсот долларов.

– Ладно, – сказал Розенберг. – Получишь, когда начнем снимать.

– А сейчас никак?

– Не торопи меня, парень.

Фотограф хмыкнул. Розенберг ему нравился.

¹⁰ «Крыша Мира» – жилой дом в Харькове по адресу Театральный переулок 6, был построен в 1910 году. Он был жилым до 1980 г., после пожара жильцы были выселены. До революции в этом доме проживали состоятельные граждане. Харьковчане называют это здание «Крышей мира», так как с него хорошо виден город. О страшном здании с обвалившимися окнами и жуткими фигурами в виде голов животных ходило много легенд.

Час спустя центр города – булыжная мостовая площади, на закате блестящая как металл, да ломанная линия деревьев и домов за окнами номера – последнее, что он видел вчера, задерживая шторы – остался далеко позади. Они мчались мимо полей, исправительной колонии, мимо депо ЮЖД, завода изоляционных и асбестоцементных материалов – мест, в которых никогда не был Розенберг, считавший, что знает город вдоль и поперек, потому (думалось ему), что бывать здесь было без надобности, как в любом окраинном рабочем районе, теперь полуразрушенном, с заводскими воротами, выкрашенными серебрянкой, барельефами орден над проходными, пропыленными стеклами корпусов и немо торчавшими трубами, панельными семиэтажками швами наружу, хламом на балконах, канавами со стоячей водой, заборами, да тополями, черневшими в сером небе. Теперь, на солнце догоравшего лета, все это казалось белесым и безжизненным.

Розенберг задумчиво смотрел в окно.

– Что это Фрею вздумалось снимать у нас? – спросил фотограф. – Все это проще было организовать в Москве или в Питере. Потянуло в родные места?

– Да нет, – сказал Розенберг, – так совпало. Он знал, что я собираюсь на родину. Я тоже воспользовался случаем. Здесь похоронены родители. Надумал взглянуть, что и как. Он оплатил дорогу.

Им пришлось выйти из машины и пройти по насыпи сотню метров, прежде, чем показались фермы моста.

Место было необжитым; противоположный берег – поросшим сухостоем, мост – коротким, в один пролет. Фотограф достал из сумки аппарат и принялся снимать, присел, потом почти лег на насыпь. – Согласитесь, мост – находка! Мост в никуда. Настоящий urban! – полуобернувшись, сказал он Розенбергу; слова неожиданно громко прозвучали в звенящей тишине. – Тут надо снимать в туман или с генераторами дыма! Знаю, кстати, где раздобыть пару таких. Можете пройтись к воде, а потом – по мосту? У воды повернитесь ко мне!

– Ладно, – сказал Розенберг.

Он снял очки и неспешно пошел к мосту, спрятав руки в карманы плаща. С непокрытой головой, в пуловере под плащом, светлых брюках и мокасинах он чувствовал себя беззащитным, как под прицелом, умом понимая, что так на него всегда будут действовать мосты, дорожные развилки, пустоши, поля.

Он постоял у темной, точно автол, воды, повернулся к фотографу и, обойдя опору, поднялся на мост.

– Дальше идти? – спросил он.

– Нет, – сказал фотограф. – Нет, нет, достаточно! Теперь поехали на Новожаново, и – назад. До туда будет минут двадцать.

Второй мост был почти таким же: мрачный, высившийся фермами над оврагом, промытым ручьем. Похожим было и место – солнечным и безлюдным, почти зловещим. Розенберг не пожелал спуститься к воде, как просил фотограф и, стоя наверху, смотрел, как тот снимает балки платформы, воду у опор, валуны.

Потом пошел к машине, забрался на заднее сиденье, запахнул плащ и закрыл глаза.

Он подумал, что забывать – несомненно, лучшее свойство памяти. Ему понадобилось прожить жизнь, чтобы понять, как устроено время, что забыть можно все или почти все, если нет зримых воплощений прошлого – домов, памятников, руин – что прошлого, как такового, нет, только пережитое – переживания, становящиеся памятью, когда чувства утихают, испарявая себя, исчезая бесследно, как люди. Невеста юности его выбрала не худший способ, думалось ему, а, пожалуй, единственно верный. Он сам прибежал к такому когда-то и готов был прибежать опять. Ему вспомнилось, как отец, главный инженер завода, продолжал выходить на работу каждый день, когда завод третий год был закрыт и разворован до гвоздя, до станочных плат, проданы были даже подъездные пути, чтобы рассчитаться с рабочими, и как он вече-

рами ел на кухне, где ему подавала женщина, приходившая готовить и стирать, с тех пор, как не стало матери, склоненную голову отца, огромный лоб, тронутый старческими пятнами.

– Поехали в гостиницу, – сказал он фотографу. – Мне надо выпить, а ты поешь.

Теперь, по прошествии стольких лет, он мог признаться себе, что всегда стеснялся отца, его выговора, шуток, просительных интонаций, того, что было в нем еврейского, не изжитого ни войной, ни работой, ни средой, ни говором города и края; еврейство, как тогда казалось ему, было не просто слабостью, а чем-то вроде порчи или проклятия, чем-то, что нельзя ни скрыть, ни навязать, разве что заставить, чтобы все вокруг делали вид, что не замечают этого – то, чего он, мальчишкой, не мог и не умел добиться, как и примириться с тем, что его отец – тихий, уступчивый человек, казавшийся несоборным и несообразным из-за высокого роста, сутулости, очков, всего, что в представлении мальчишки было достойным презрения и осмеяния, как и его собственное заикание, рыжие волосы, фамилия. Ему представлялось, что отец нуждается в покровительстве и защите едва ли не больше его самого, даже не потому, что тот был Розенбергом-старшим, но оттого, что, как казалось сыну, ему полной мерой передались отцовская уязвимость, беспомощность, и, бросаясь драться кулаками, камнями, всем, что попадалось под руку, когда его высмеивали или задирали, он защищает их обоих.

Фактически его воспитали женщины – бабушка и мать, на деле – дворы на Рымарской. Потом – мужчина с перебитым носом и ушами, с костными мозолями на кулаках, чье имя всеми и везде произносилось осторожно и почтительно, зарабатывавший на жизнь альфрейными работами, в комнате у которого стоял докторский саквояж, заменявший денежный ящик; у него он перенял походку, манеру держаться, стиль одежды и правила жизни, поведенческий кодекс, учивший, как обращаться с мужчинами, женщинами, друзьями и деньгами; так и вышло, что говорить об этом можно было с ним или с матерью, но не с отцом – чему причиной был даже не отец, не его завод или работа и должность, требующие уважения, и то немногое, что оставалось семье, а самый уклад города, скорее люмпенский, нежели пролетарский, с рюмочными, пивными, рынками, ляганьем трамваев, пыльными улицами, папиросами, обращением «слышишь!..», танцами в парках, пиджаками, поножовщиной и рабочими районами, простиравшимися за перекрестками трехчетырех центральных улиц; оттуда проходило все, оскорблявшее, угрожавшее и ненавидимое – частью чего был отец, данник того, с чем надо было жить, к чему притерпеться, и принадлежавший этому, хотел он того или нет. Несколько раз они с отцом ездили к морю, где он нехотя вверялся отцовской заботе, единственному выражению отцовской любви, безмерной (как он понял потом), но не нашедшей ни средств, ни языка, чтобы окруженный и возвращенный ею, мальчик вырос и возмужал, как хотел отец и мечтала мать. Потому что он возвращался к улицам и дворам, где они были бессильны. Потому что он рос среди сверстников, замкнутый, воинственный, способный броситься на парня десятью годами старше, на взрослого, в ослеплении клокочущей ярости, так же бессильной, потому что почти всегда это заканчивалось одним и тем же: избитый в кровь, весь в пыли, с порванным рукавом или штаниной, он ковылял за гаражи, к пожарному гидранту или искал кран, чтобы умыть лицо, и уж не помнил, когда с ним дрались честно, один на один; или, подталкиваемый матерью, входил в отделение, где на скамье у дежурного уже сидел кто-то из сверстников с пробитой головой и обозленными, перепуганными родителями, и стоял молча, слушая тихий и спокойный голос матери: – Он еще мальчишка. Его дразнили. Была драка. Их было несколько на одного. – И дежурный, морщась, обрывал ее: – Ну да. Конечно. Это самое я слышал от вас пять дней назад! Если вы знаете, что он у вас бешенный, не отпускайте его одного! Ты расскажи мне, что нам с тобой делать, Розенберг? – А дома, через дверь слышал отцовский голос, исполненный того же гневного недоумения: – Я не понимаю, что с ним происходит и когда это закончится, черт возьми! Весь мир против него! Он один не может спокойно выйти на улицу, ты мне не объяснишь, почему? – И снова слышался спокойный и ясный женский голос: – Ты знаешь, почему. Ты все прекрасно знаешь! – И снова гремел голос отца, гневный, недоумеваю-

щий, растерянный: – Что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь? Я бы отдал его в армию лично, завтра же! – И женский голос отвечал со спокойным стоическим терпением: – Еоворю тебе: он просто мальчишка. Это возраст. Это пройдет! Он хороший храбрый мальчик. – А потом это кончилось, в минуту, когда он нашел себя, спустившись по лестнице в полуподвал здания синагоги; глаза обежали зал, и заглушая все то подлое, оголтелое, с чем не мирились ни ум, ни память, голос внутри сказал «Вот оно. То, что ты искал. И помни: никогда больше. Ни от кого. Никогда».

V

– Внимание! – сказал фотограф. – Все, кто на съемку, пожалуйста, станьте у стены.

– Трое мужчин и семь пожилых женщин с готовностью подошли к стене. Ванну, как оказалось, уже втащили. Двери квартир на первом этаже были распахнуты, как некогда в квартиру Розенберга перед продажей; пыльные лампочки на шнурах, тронутых побелкой, горели в зыбком сумраке, очеркивая наготу стен и потолков, набрасывая на лица резкие тени, из которых глядели глаза. – Мы проводим набор моделей для съемки Ильи Фрея, известного фотографа, лауреата международных премий. Господина Фрея – поправился он. – Вот его представитель, господин Розенберг, израильтянин, как и господин Фрей, оба – уроженцы нашего города.

– Проще говоря, Ильи Фреймана, – негромко сказал один из мужчин.

– Совершенно верно, – сказал фотограф любезно. – Но мы тут все-таки будем называть его господин Фрей, как он пишется в журналах и каталогах. Не возражаете?

– Да нет, – сказал мужчина. – Фрей так Фрей. Как скажете.

– Превосходно! – сказал фотограф. – Меня зовут Дмитрий. Есть кто-то, кто прежде снимался в фотосессиях? Нет? Ну, неважно. Это проект для Венецианского бьеннале. Чуть позже мы познакомимся со всеми поименно; тем, кого выберет господин Фрей, нужно будет заполнить анкеты и договоры. К анкетам будут приложены ваши фотографии, которые сниму сейчас я. Внимание! Тут у меня конспект съемки и фотоматериал, раскрывающий идею, но я скажу все на словах и отвечу на вопросы. – Он отошел к окну, пробежал глазами текст: – Рабочее название проекта: «Зодчие руин». Господин Фрей решил представить в серии работ масштабную и разноплановую иллюстрацию краха большевистского проекта. Идея проекта Хэмингуэвская: «Люди не верят в поражение, пока не увидят руины». Идеология режима исчерпана, он пал, в бывших республиках промышленные центры отмирают, превращаются в брошенные города. Представим взрыв, оставивший все на своих местах, но отшвырнувший такой город, как наш на обочину развития. Жизнь в нем – существование вне времени, полуреальное полубытие, в котором люди-призраки живут в прошлом и прошлым.

– Тут и представлять нечего, – сказал мужчина.

– Они доживают свои истории среди разрушающихся зданий, заводов, мостов, – продолжал фотограф, – становясь заложниками воспоминаний, любовниками, уединяющимися в ваннах, в гостиных опустевших квартир, на подоконниках подъездов, как юности. Господин Фрей хочет снять нескольких женщин и пожилые пары в коротких love-story, в псевдоготике, этаким городском средневековье. Не приукрашивая ни тела, ни камня. Это будут черно-белые фотографии в духе неореализма, с чем-то от немого кино – позами, театральностью, драмой. Так ему это видится.

– Постойте! – сказала одна из женщин. – Вы здесь нас будете фотографировать? В этой грязи?

– Совершенно верно, – сказал фотограф любезно. – Мы хотим снять наш проект, а не ваши студийные портреты. Вы должны понять следующее: это роли, игра. В которых вы играете отчасти себя самих.

– Людей-призраков.

– В какой-то мере. Условно, метафорически. Людей без будущего, не переставших жить и любить. Даже счастливых тем, что они остались одни. Таких городов множество. Детройт, Гери в Индиане в США, Магадан, да мало ли мертвых городов! Просто представим, что в них остались люди. Что они больше не надрываются на работе, не борются за жизнь, а просто живут и любят. Руины для них нечто вроде рая, который подарил им режим, и эти люди – вы.

– Мы должны будем развеваться, так?

– Скажем, сниматься полураздетыми. Вы уточните у господина Фрея. Тут нужны искренность, обнаженность, правда. К тому же вам хорошо заплатят.

– Пойдем отсюда, – сказала женщина подруге.

– Нет, я буду участвовать, – сказала та. – Мне не близка идея, но деньги мне нужны.

– Прекрасно, – сказал фотограф. – А пока давайте прервемся. Мы вас оставим минут на сорок. У вас будет возможность все обсудить. Если надумаете сниматься, помните: съемка – совместный труд фотографа и модели. Тут либо проникаешься идеей, характером самого действия, либо лучше не начинать.

– Это мы тоже поняли.

– Прекрасно, – сказал фотограф. – Теперь мне нужен мужчина для сюжета на другой площадке. Вы, например, – Он кивнул человеку, говорившему с ним о Фрее.

– Проедетесь с нами.

Он вышел с Розенбергом в коридор, к представителям собственника и рабочему. – Ну что ж, все неплохо! – сказал он негромко, доверительно. – Начнем через час, снимать будем часа два. Свет нежелателен. Нужно, чтобы было темно. В этих трех комнатах можно заклеить окна газетами или плотной бумагой? Или заложить их листами толи? После мы их завесим чем-нибудь. Подметать пока не надо, сбрызните пол, чтобы прибить пыль. Газеты расстелите на подоконниках тут и там. Ну что, довольны? – сказал он Розенбергу.

Не отвечая, Розенберг достал из заднего кармана бумажник, отсчитал пятьсот долларов и отдал фотографу.

Была середина дня, полуденное солнце слепило. Рабочий и мужчина-модель, ровесник Розенберга, уселись на заднее сиденье. В подскакивавшей, дребезжащей машине они одолели подъем к городской площади и свернули на Пушкинскую.

– Хотел спросить, почему в город как вымер? – спросил Розенберг фотографа.

– Люди разъехались. На заработки. В Польшу. В Россию. В Германию. Те, кто остались, на дачах или на работе, если она есть. На вещевом рынке, горбатятся на китайцев. Многие поумирали или уехали, как вы. В центре всегда безлюдно в полдень. Вы, кстати, где жили до эмиграции?

– На Рымарской. В шестом номере.

– Знаю этот дом. Ниже, на Бурсацком спуске у меня было когда-то место, простоял там пару лет. Торговал книгами. Под конец их даром никто не брал. Было такое время! Не застали?

– Нет, – сказал Розенберг.

– Повезло вам. Фрею тоже хватило ума уехать вовремя.

Фотограф припарковал машину у ограждений из шифера. Они прошли в ворота, мимо полуразрушенной пристройки, возвышавшейся среди разросшегося бурьяна. Стоявшие в ней милиционеры лениво следили, как они входят в здание; один поднял два пальца в карликовом приветствии. Розенберг вошел за фотографом в плотную тень, в тленные запахи развалин, держась обезображенных стен, устремленных в яркую синеву неба. Фотограф приостановился снимая обнажившуюся там и сям кладку стен, надписи, словно протравленные кислотой, черные балки, протянувшиеся у них над головами, разбитые балконные двери в верхних этажах. Потом окинул взглядом гору битого кирпича и камней.

– Придется обойти кругом, – сказал он Розенбергу. – Снимать надо на просвет, а солнце у нас за спиной. И вот что: мне понадобится ваш плащ, на пару минут. Дадите?

– Да, – сказал Розенберг, чувствуя, что происходящие начинать тяготить его.

Они перешли гуськом к противоположной стене, Розенберг снял плащ и отдал фотографу. Тот передал его рабочему и стал прилаживать вспышку.

– Встаньте-ка к стене, – сказал он мужчине-модели. – Сделаем тестовые фото. Просто смотрите на меня. – Он чуть отступил, подался вперед, перенес вес на переднюю ногу и на миг слился со своим массивным аппаратом. Ударил вспышка.

– Еще! – скомандовал он. – Позы не менять! – Снова ударила вспышка. – Так, – сказал фотограф. – Так. Закиньте голову, будто глядите меня свысока! – Вспышка ударила. – В следующий раз не брейтесь перед съемкой. Смотрите на меня исподлобья! Отвороты пиджака зажмите в кулаки и сведите их у подбородка. Хорошо! – Вспышка ударила. – Так, – сказал фотограф. – Превосходно! Сбросьте пиджак на локти и голову откиньте назад. Ага, так. – Вспышка ударила. – Станьте ко мне в профиль. – Вспышка ударила. – Ну вот, – сказал фотограф. – Достаточно. Теперь наденьте этот плащ и воротник поднимите! Представим, что вы здесь живете с собакой, и эта куча кирпича ваш палисадник, внутренний двор. Ранее утро; вы вышли подышать и выгулять пса. Пройдитесь наверх, не спеша и не останавливаясь. Руки суньте поглубже в карманы и распахните плащ. Пошли!

Осторожно ступая, мужчина двинулся наверх. Когда он дошел до середины, заработала вспышка. Розенберг следил за ним, не отрываясь. Он вдруг почувствовал почти мистическую многозначительность происходящего: так одинок был человек в его плаще, бредущий в косых лучах. На вершине мужчина остановился и, как вчера Розенберг, поднял голову к небу.

– Гениально! – работая вспышкой, в полголоса сказал фотограф. – Золотая умница Фрей! Вот широкая метафора жизни! Надо было снять его с голыми икрами, в туфлях на босу ногу, будто он только вылез из постели, ну да ладно, сойдет и так. Очень убедительно! Понимаете, о чем я говорю?

– Хочешь сказать, что останься я в городе, сейчас стоял бы там вместо него?

– Нет, просто образ символичен. Мы живем в руинах прошлого и шагаем по обломкам: вы, я, он. Не имеет значения, остались вы или уехали!

– Может быть, – сказал Розенберг. – Хотя я, кажется, неплохо устроился.

– Это что-то меняет? – с легкой иронией спросил фотограф.

– Слушай, парень, ты сможешь закончить без меня? Я тебе доверяю, – сказал Розенберг.

– Нет-нет, вам нужно остаться! Что-то может пойти не так. Это не профессиональные люди. Вы – заказчик, вы платите, все происходит при вас, и никаких недоразумений! Снимем хотя бы квартиру и окна на Рымарской, в парке и на мосту я управлюсь сам. Так что, пожалуйста, не уходите!

– Мне ехать с вами или как? – спросил мужчина-модель. Он подошел, отдуваясь, и отдал Розенбергу его плащ. – Все хорошо, вы довольны? Можно взглянуть, что получилось? Я, кстати, в молодости играл в студенческом театре, это чувствуется?

– Да, – сказал фотограф. – Несомненно. – Он выразительно поглядел на Розенберга.

– Давайте-ка все закончим, снимки посмотрим потом.

Розенберг посмотрел на часы, потом – в узкое окно, в котором, точно очнувшись, увидел простершийся город: блеклосолнечные разномастные крыши, протянувшиеся, на сколько хватал глаз. Он выпил в гостинице и теперь почувствовал себя уставшим и отяжелевшим; съемки, поездки, фотограф утомили его. Он потерял интерес к происходящему еще раньше, поняв, что все идет как надо, и от него ждут только денег. Фотограф и мужчина-модель смотрели, как он направился к выходу из здания, прошел за ограждение, и, не дожидаясь их, сел в машину.

С тем же отсутствующим, жестким выражением на лице, на котором резче обозначились морщины, он прошел за фотографом в комнаты, покинутые ими час назад, точно переместившись из полумрака в полумрак, сквозь дремотную пустоту залитых солнцем улиц.

Пока их не было, несколько человек ушли.

– Скоро закончим, – сказал фотограф Розенбергу.

Розенберг с равнодушным любопытством оглядел женщин у дальнего окна. Одетые с провинциальной щепетильностью в неброские темные юбки, жакеты и плащи, они напоминали учительниц, явившихся на поминки и тихо переговаривавшихся в пустой гостиной. Мысль о том, что их будут снимать в фотосессии, показалась ему безумной – как те фотографии старческой женской плоти, затянутой в модное белье, которые Фрей приложил к плану съемок; точно

читая его мысли, женщины у подоконника поглядывали в его сторону с плохо скрытой враждебностью. Все это нужно было перетерпеть, вернуться в гостиницу и выбросить из головы.

Фотограф принес из автомобиля кофр со студийным оборудованием.

Водрузив его на подоконник, он выложил удлинитель, стационарные вспышки, завернутые в целлофан, штативы, зонты и зачехленные лайтбоксы.¹¹ Розенберг подошел помочь. Вдвоем они молча и споро расставили штативы. Фотограф водрузил на них вспышки, вставил в одну белоснежный, китайского шелка, зонт, и направив в потолок ее тальковый свет, принялся собирать лайтбоксы. Навесив на остальные их черные короба с шелковыми экранами, ровным сиянием сгустившие сумрак, он вышел за бумагами Фрея. Розенберг, привалившись к стене, смотрел, как фотограф вернулся, как начались съемки; как в промежутках между ударами света менялись женщины у стены, вскоре перестав воспринимать происходящее, как учила привычка ждать – смотреть, не вглядываясь, и уж подавно не пытаюсь понять, зачем он сам здесь, как он здесь очутился, просто стоять в плотном сумраке, против света и голосов, прислушиваясь к своему дыханию, к невнятному шуму воспоминаний; так было вчера на заре, среди развалин, и когда-то давно, когда он посмотрел вверх, на прожектора, слушая и не слыша формулу боя; бывало и потом, у кострища на берегу Моравы, в аэропорту Schiphol¹², на израильской улице, когда разум спрашивал у отблесков пламени, чужой спины, у силуэта самолета в лучах заката, как вышло, что он здесь, он ли это. Также спокойно, бездумно, слушая гул в ногах, он видел, как переместился свет, как пожилая женщина в лифчике и в нижней юбке, точно сошедшая со старых фотографий, прошлась, сопровождаемая вспышками, в конец коридора, стала там в несколько поз у дверного косяка, и в голове пронеслось: черт с ними. Мне-то до них что. Свой билет я отработал. Надо простоять здесь, пока они закончат, выпить и лечь в постель, чтобы вытянуться, как следует! – И снова свет переместился, выхватил ванную, стену и пол, сместились и голоса, препиравшиеся, перешедшие в крики, и женщина, наконец, забралась в пустую ванну, села в ней, обхватив колени, как ей велели, мужчина-модель подсел на обод; и она взглянула в сумрак, в котором стоял Розенберг. Мгновение она смотрела на него, затравлено как животное, с немым оцепелым отчаянием, с каким смотрела из спальни мать, когда ей сообщили диагноз. Розенберг подался назад и взялся за стену, пытаюсь устоять на ногах. Вздохнуть он не мог, как после удара в грудь; потом задышал, натужно, будто воздуха комнаты не хватало на вдох, и гостиница поплыла перед глазами; и память заговорила с ним, ясно, беззвучно, повелительно:

– Поспокойнее. Дыши. Время есть. Поспокойнее. Просто дыши, и все. – А потом слышал и голос фотографа: – Что? Что такое? Что с вами? – И, все еще не придя в себя, услышал свой голос: – Ничего. Померещилось. – Это все духота! – говорил фотограф, – Вспышки греются. Надо на улицу! Я провожу вас! Идти сумеете? Вам бы врачу показаться! – Тут нет врачей. – Он снова услышал свой голос: – Найдешь меня в гостинице. Фрей прилетит в субботу. Заканчивай этот чертов цирк!

¹¹ Лайтбокс (световой бокс, англ. lightbox) – источник света с большой поверхностью, входит вместе с рассеивателями, зонтами, экранами и т. д. в оборудование фотостудий, используется в фотосессиях

¹² Аэропорт Schiphol – аэропорт Амстердама

VI

Ночью сквозь сон он услышал, что телевизор работает.

Он сел на постели, не протрезвевший, с полузакрытыми глазами, нашарил ногами шлепанцы, поднялся и прошел к балкону, пытаясь попасть в рукава халата, Вызвездило; но край неба светлел, и по-утреннему, в неполнакала, горели фонари вдоль площади. Розенберг постоял в дверях, чувствуя, как знобкий ночной воздух взбирается к груди и животу; вернулся, залпом выпил бутылку воды из бара и забрался в постель. Он не напивался допьяна последние лет десять; алкоголя хватало на забытье до полуночи, и тогда он засыпал лишь под утро. Телевизор он не выключил. Снова проснулся, когда рассвело, еще в похмельной одуре, пролежал с полчаса, не шевелясь, без мыслей, прислушиваясь к телу, как к на миг беспричинно разладившемуся механизму. Потом перестал. По крайней мере, теперь, он был свободен.

Он постоял под душем, оделся, спустился на второй этаж к шведскому столу; вернувшись в номер, отхлебнул из бутылки и сунул ее в карман плаща. Час спустя он был на автовокзале. Еще через час, проехав в тряском автобусе сельские пригороды, перелески и поля под картинной небесной синевой, сошел на площади областного городка, окруженной трехэтажными, казарменного вида домишками, тополями, клумбами, огражденными до половины врытыми в землю побеленными покрывками, пересел в старенькое такси и через десять минут был у наезженной дороги, что вела к мосту у дугообразной речной излучины, огибавшей далёкий мыс с кромкой леса. Там он расплатился, вылез – и двинулся, не торопясь, по мягкой пыли к мосту над искрившейся темной водой, за которой в густой зелени проглядывали белые домики. Когда-то он ходил этой дорогой каждое лето, месяц или два в году, в зависимости от того, сколько тянулись сборы, уезжая на выходные домой и возвращаясь таким же утрами, жарким или росным, с адидасовской сумкой на плече, а если сборы затягивались до октября – по осеннему студёными, и придорожная трава бывала прихвачена инеем, а лес окрашивался племенными цветами осени... Он перешел мост, вторивший шагам, взошел на песчаный, поросший сосняком, склон, и направился в глубину лагеря, между рядами фанерных домиков, – явно чужой здесь в своем летнем плаще, светлых брюках, мокасинах и дорогих темных очках; но лагерь был почти пуст и на него не обращали внимания. Розенберг свернул вправо, туда, где тридцать лет назад стояли палатки на четыре койки и были навсегда вкопаны и зацементированы шпалы и щиты с кронштейнами и поперечными балками, на которые по утрам навешивались тяжелые мешки, пневматические и натяжные груши, хранившиеся в пристройке к тренерскому домишке; дальше – он точно помнил – стеной стоял молодой ельник, порыжелый к июлю, с плотным настилом игл, тенистый, в прокаленной хвойной духоте, пронизанной солнечными лучами. Теперь тут высились ели, переменялся, поредел и вырос лес, чьими тропинкам они бежали каждое утро, небыстро, часами, сквозь смыкающуюся листву орешников, тени и солнечные пятна; отыскивая взглядом тропинку, он всмотрелся в солнечную лесную глубину так, точно вздумал разглядеть силуэт с белым пятном полотенца вокруг шеи, мелькающий впереди таких же, расслышать шаги, которые могло бы хранить для него это зеленое безмолвие – место, позабывшее его и не узнавшее, а теперь чутко прислушивавшееся к его присутствию... Он рассмотрел тропинку, размытую за годы дождями, огляделся, достал из кармана бутылку, отхлебнул, и направился к дощатому помосту, открытому небу, вокруг которого траченные временем, потемневшие щпалы и щиты стояли неприметно, точно избыв свое предназначение и растворившись в растительной жизни леса. Он подошел к одной, осторожно, как ребенок, тронул позеленевшую корку ржавчины. Потом сел на солнышке, на нагретые, выбеленные временем доски; потом лег и раскинул руки, снова слыша несметные голоса памяти, молодые, беззаботные, неразличимые в слитном хоре, принадлежавшие его поколению, сгинувшему без следа, ушедшему беззвучнее дыма. Он не пытался вспомнить лица, заставить их выступить из

темноты, зная, что половины нет в живых, по крайней мере, тех, о ком он слышал; сознавая, что решил тут найти что-то не от времени, от поры, когда жизнь столько обещала каждому, а от себя самого, расслышать свой голос в этом хоре. Он не жалел, что толком ничего не мог вспомнить, и не завидовал отцу, чьи фотографии встреч выпускников Политехнического каждые десять лет, хранились у него до сих пор. Было в них что-то кладбищенское, неотмирное. Его немногие фотографии, те, что снимали здесь, и снимки боев порвала девка, с которой он жил пол года; уходя, он выбросил клочки в кухонное ведро. Куда лучше он помнил, как мальчишкой покупал пирожки на углу Пушкинской и Воробьева, прямо из кухонного бака или как, взобравшись на будку киномеханика в сквере Дома ученых, глазел на экран, распластавшись на толевой крыше. Ему показалось, что он задремал. Он сел, посмотрел на часы и поднялся.

Он позвонил Ларочке с дороги; и снова, в таком же автобусе, среди бедно одетых людей, глядя в окно, в котором по убывающей дуге отодвигались, не удаляясь, как в панораме, перелески, поля и пыльная придорожная растительность, он мысленно пытался вернуться к тому, от чего уходил, что готов был отринуть при первой возможности, не допуская мысли, что останется и проживет жизнь тренером или директором рынка, или кем-то, кем, в конце концов, устраивались те, кто оставались и те, кто уезжали; и на свой магазин он не смотрел, как на собственное дело, перекупив его по случаю и передоверив закупки и счета одной семье, ни дня не простояв за прилавком. Он продал бы магазин, не раздумывая, будь в этом какой-то смысл. Раньше он думал, что это делает его свободным и что только так можно жить, и это оправдывало себя; потом не стало необходимости и в этом. Он стал подумывать о семье, потом думал об этом все реже, поняв, что проживает жизнь с сожительницей, даже с темнокожей, в нормальном, здоровом грехе, не потому, что искал вторую мать, но от того, что в его представлении жена должна быть ее продолжением, аватарой, и это время тоже ушло; и о нем он думал без сожаления, потому что пытаться зажить своим домом, жизнью своей семьи, значило не только порвать, а похоронить окончательно то, с чем он вырос, что почитал и любил. И о женщине, к которой ехал теперь, он думал тепло, но без раскаяния: еще одна, которой я испортил жизнь! С ними, кажется, мне удастся только это.

Начинало смеркаться, когда он позвонил в ее дверь; вошел в прихожую квартирки, в которой – он скорее почувствовал, чем понял – не жил мужчина, по крайней мере, с тех пор, как он был тут последний раз, без малого, двадцать лет назад. Она впустила его, распахнув дверь и бросилась ему на шею; потом отступила на шаг, принимая у него цветы, коробки, глядя на него с недоверчивой, восторженной улыбкой на курносом веснушчатом лице. Она побывала в парикмахерской, глаза скрывали дымчатые очки. В остальном она почти не изменилась; невысокая, стройная как девчонка, которую, казалось, годы сделали стройней, пощадил.

– Ленечка! – сказала она. – Леня Розенберг! – Она потрясла головой, словно отгоняя сон: – Я думала, я больше тебя не увижу! Леня Розенберг! – произнесла она отдельно, точно пробуя звуки на вкус. – Поверить не могу!

– Здравствуй, Ларочка! – проговорил он, улыбаясь.

– Все, все, пойдем! Я еще рассмотрю тебя хорошенько! – она повела его в столовую, усадила и принялась разбирать и раскладывать фрукты, цветы, конфеты, украшая стол и не сводя с него восторженных глаз. – Ты голоден? Когда ты приехал?

– Три дня назад, – сказал Розенберг. – Прости, не зашел сразу. Были дела.

– Ах, да, конечно! В начале дела! – она тряхнула головой и засмеялась. – Ничего не меняется! Ты был у своих?

– Нет, – сказал он. – Я думал, завтра.

– Я навещаю их.

– Знаю, – сказал Розенберг.

Ее мать умерла рано. Вот все, что он знал о ней; он быстро свыкся с ее присутствием в их доме, не задумываясь, почему это так; ее любила мать, и этого было довольно. Он видел ее

еще несколько раз, когда навещал отца. Он переводил для нее деньги отцу. После похорон он выслал деньги на ее адрес, но они вернулись назад.

Он разглядывал обстановку гостиной – скорее строгую, чем скромную: недорогой гарнитур, белые тумбы, физалис и папоротники, засушенные в высокой вазе, стопки книг, зеркала, стулья с гнутыми спинками, темные занавеси, у стены – покрытое белым полиэфиром пианино Bechstein, на нем – книги и фотографии в серебряных рамках.

– Твой подарок, Ленечка, – сказала она. – Не знаю, что бы я без него делала.

– Сколько ему лет, Лара? – спросил Розенберг.

– Семнадцать, – засмеялась она. – Его недавно подроставрировали. Я даю уроки, Ленечка, как твоя мама когда-то. В училище не хватает часов. И учеников год от года все меньше. Ты же был в городе, видел, как все переменялось? Ты кого-нибудь нашел из приятелей, друзей?

– Нет, – сказал он. – Да я и не искал. Аза жив, Вовка Каратаев в Киеве. Рамзее ушел, Сам охи нет. Шияна похоронили в апреле. Говорят, он уходил тяжело. Я не видел их с тех пор, как уехал.

– Как тебе живется, Ленечка? – спросила она. – Чем ты живешь в Израиле? Что ты там вообще делаешь?

– Не знаю, – сказал Розенберг. Он засмеялся. – Просто живу. Живу, и все. Так живут многие.

– Ленечка, – сказала она. Она не сводила с него глаз, он видел их сквозь дымчатые стекла ее очков. – Ну, хорошо. Ты мне расскажешь потом! Налей мне вина, я хочу выпить!

– На днях встретила Ирку Заславскую, – заговорила она через минуту. – Ну и конечно, вспомнили тебя, Ларису Лазоревну... Ирка все спрашивала, где ты и что ты, а я не знала, что отвечать!

Она тряхнула головой, вздела очки на волосы у лба.

– Дай-ка я посмотрю на тебя, Ленечка!

Привстав, она приблизила свое лицо так близко, что он ощутил ее дыхание, почувствовал сквозь фиалковый аромат ее духов сладкий запах помады. – Господи, сколько шрамов! – сказала она. – Шрамы, морщины, седина, но шрамов все-таки больше! – и продолжила речитативом, без выражения:

*Он был тощим, облезлым, рыжим,
Грязь помоек его покрывала.
Он скитался по ржавым крышам,
А ночами сидел в подвалах.*

*Но его никогда не грели,
Не ласкали и не кормили.
Потому что его не жалели.
Потому что его не любили¹³.*

Она отодвинулась и села на стул, не сводя с него глаз. Розенберг положил руку ей на колено.

– Не надо, Ленечка! – взмолилась она. – Мы уже стары. Господи! Неужели ты не понимаешь?..

Глаза ее наполнились слезами. Она схватила его руку и поднесла к губам. Розенберг тяжело поднялся, поцеловал ее в волосы и пошел к двери.

¹³ Отрывок из стихотворения раннего И. Бродского «Кто-то должен любить некрасивых».

Пройдя по Сумской, странно опустевшей к вечеру, он свернул в парк и пошел по пятнам света под фонарями. Надо было поесть, но ему не хотелось на люди. Без малого, сорок лет назад он сумел уйти из дому, снять первую квартиру, потому что в их доме была она – не ученица, не родственница, а духовно близкий человек, некто вроде приемной дочери, проводившая у них дни; с матерью их сблизила музыка, потом он понял, что не только музыка; как если бы у него с матерью существовал уговор: я говорю тебе то, что полагается знать матери, я буду делать то-то и то-то, и не сделаю того, что ты не приняла бы никогда, если не прокляла бы, то осудила в принципе; большего не проси. Женщине не нужно знать больше, мать она или нет, неважно! – Как если бы он сказал ей то, что они знали без слов: у тебя есть мой отец и твоя музыка, и она, а я уж позабочусь, чтобы у вас было все, что нужно, и чтобы то, чем живу, вас не коснулось, обошло стороной. Вы только оставьте мою жизнь мне. – Он даже помнил, как ответил матери: «Да я сбегу от нее на второй день, с ее нотами! Удочери ее, если хочешь. Все равно, она от тебя не отходит. Она золотая девка, верно, но ты посмотри на меня» – Про себя сказав: я и раздеть ее не сумею, просто не поднимется рука. Даже не знаю, как бы я это делал. И что бы я делал после этого. – А теперь думал в такт шагам, не замечая, что произносит вслух: – Точно. Она права. Ничего не меняется, черт возьми!

Он свернул в боковую аллею, отыскал летний ресторан с плетеным из лозы ограждением под сельскую околицу и китайскими фонарями; усевшись за некрашенный стол, велел принести шашлыки, воду со льдом и стакан, когда официант отошел, налил полстакана виски, выпил, плеснул еще и стал смотреть на вечерние огни, вновь слыша голоса памяти: шум тысячной толпы, валившей вдоль по Сумской, музыку из автомобилей, смех на заднем сиденье, рокот ударных установок, шепот из темноты аллей.

В номер он поднялся с миловидной женщиной средних лет, подсевшей к нему в лобби-баре.

VII

Было свежее прохладное утро, когда он подошел к воротам кладбища. Ворота были заперты, но боковая калитка открыта. Он вошел в просверк солнца и приостановился, шурясь, глядя на огороженный сарай у забора, в котором брали песок, ведра и кладбищенский инвентарь, на водяную колонку, окрашенную в синее, асфальтовую дорожку к колумбарии и первые ряды могил – черных надгробных плит, срезанных на угол, с фамилиями и названиями должностей чиновников обкома и исполкома, с их выгравированными портретами при галстуках и в орденах, как на осколки посмертной доски почета, на памятник городскому голове, плиту и бюст губернатора (усыпальницы городской знати, как говорила мать), на надгробья академиков, художников, артистов, их барельефы и двойные кресты, таявшие в слепящем солнце.

От ворот к боковым аллеям вела центральная, над ней смыкались кроны больших берез и кленов, образуя подобие анфилады. Справа стояли гранитные памятники с барельефами сыну директора завода, убитому в драке, внуку Буденного, расстрелянному в городской больнице лет пятнадцать назад: надгробную плиту украшало изваяние волка. В этой стороне кладбища могилы густо заросли лозой, лиственницами, ельником; в зеленой мгме виднелись рухнувшие деревья, поваленные изваяния; но вдоль центральной аллеи, за выкрашенными серебрянкой оградами чинно выстроились памятники с портретами юристов, офтальмологов, главврачей, генеральных конструкторов, ректоров институтов, в большинстве не ухоженные, но еще не тронутые мерзостью запустения.

Розенберг подошел к сараю, убедился, что он закрыт и направился к своему семейному участку. Участок располагался в начале четвертой аллеи, у увитого диким виноградом, фигурного забора, над обрывом, вдоль которого проходил Журавлевский спуск – дорога к Журавлевке¹⁴, бывшей окраине в пойме реки; ее одноэтажные дома в низине были скрытым солнечной дымкой, повисшей над дорогой. В узкий проход вдоль забора обыкновенно складывали ветви и сучья, но теперь ели вплотную подошли к забору и к участку; из их сумрачной сени тянуло сыростью. Соседние могилы были также заброшены: дети похороненных здесь людей, если и были живы, то состарились сами.

Он прошел, разглядывая знакомые, треснувшие кое-где памятники, замшелые могильные плиты, от которых веяло кладбищенским покоем, как от солнечных полян у ворот, высеченные фамилии, которые память не помнила, но узнали глаза, и остановился перед своим семейным участком за выкрашенной в черное оградой. Внутри стоял большой надгробный камень из гранита с отполированной поверхностью, и на ней были выгравированы фамилии и даты жизни и смерти деда, которого он не застал, бабушки, матери и отца. Под фамилией матери была сделана надпись, сочиненная отцом: «Спи спокойно, наша любовь, наше счастье, наша радость!», под фамилией отца – надпись, которую оставил он: «Спи спокойно и ты, мой добрый и храбрый отец».

Он разматал обрывок целлофана, которым был обмотан замок, сунул его в карман плаща, открыл калитку, вошел, аккуратно положил на декоративную железную скамью, приваренную к ограде, завернутые в намокшую газету розы, купленные дорогой. Затем подошел к камню, прильнул губами к выщербленному краю, чувствуя его вкус на губах.

– Здравствуйте, – сказал он. – Бабушка. Мама. Отец. Простите, что долго у вас не был.

Он постоял, опершись о камень, помаргивая и глядя на солнечную листву вдоль аллеи. Затем посмотрел под ноги на желтый кладбищенский песок и декоративную клумбу, в которой, как и вдоль ограды, были высажены медуница, незабудка, папоротники, аквилегия. Присев на корточки, он достал из-за камня две обрезанные до половины пластмассовые бутылки,

¹⁴ Журавлевка, Журавлевская слобода. Бывший хутор, затем пригородная слобода вдоль поймы реки Харьков.

тряпки, сходил к воротам за водой, оставив ограду открытой. Вернулся, протер полированную поверхность камня, – вырезанные буквы потемнели от влаги, – спрятал одну бутылку и тряпки, за камень, во вторую поставил цветы; сел на скамейку ограды, отдышался, достал из кармана плаща бутылку, отхлебнул и спрятал назад. Потом посмотрел на дорогу и в зелень над головой, на светотень, игравшую в прозрачном воздухе.

– Я посижу тут с вами, – сказал он. – Мои дела, вы, я думаю, знаете. Детей у меня нет, денег – тоже. Какие-то есть. – Он засмеялся. – Ни денег, ни детей! Ну и ладно. Я же не говорил, что умею жить. Я в Израиле, с темнокожей, ее зовут Гили Шараби. Мне б рассказали, не поверил бы! Вся жизнь уходит, чтобы стать не собой...

Он замолчал и привалился спиной к ограде, следя за игрой солнечных пятен и теней, в которую перешли те, к кому он обращался. Через день после похорон он позвонил санитарке, ухаживавшей за отцом, и отдал ей для мужа отцовское пальто, костюмы, туфли и рубашки, не надеванные ни разу; оба костюма, заношенных до блеска, в которых отец ходил на завод в последние годы, он вынес во двор и сжег вместе с десятичным справочником по машиностроению, который отказались взять в институтскую библиотеку, альбомами, чертежами, кальками, грудями других книг. Он не хотел, чтоб в этом рылись чужие, а, верней, потому, что пламя, стихия огня, очищения воплощала для него идею чистого освобождения духа, отягощаемого плотью, тлением; отец, мать, бабушка были кремированы, и урны захоронены, прикопаны; тут упокоился их прах, и останки деда Себе он оставил от отца кронциркуль, американскую логарифмическую линейку, которой отец страшно дорожил, и его кошелек, женский, маленький, в который мать клала каждое утро деньги на обед и на трамвай. Потому что ему никогда ничего не было нужно, подумал он привычно, спокойно, как о том, что принял безоговорочно, смирившись раз навсегда. Мы не рождаемся быть счастливыми и не способны научиться жить, и с этим ничего не поделаешь. Мы просто не умеем по-другому. Мы даже сбежать не умеем.

Он посидел еще немного, без мыслей, чувствуя на лице ветерок, открыл глаза, собираясь встать, и внезапно листва над головой изменила цвет, выцвела, точно просвеченная рентгеном, став радужно-чернильной, полупрозрачной в ревущей черноте, потом цвета вернулись, и грудь пронизала боль такой силы, что он выгнулся дугой. Нечеловеческим усилием, вцепившись в ограду, хрипя, он повернулся, чтобы позвать на помощь, но дорога под обрывом была пуста и только фура одолевала подъем в солнечном мареве. Пальцы его разжались, он повалился на песок, чувствуя его щекой и больше не пытаясь дышать, слыша сердце, забившееся, точно проколотая шина; затем он перестал чувствовать и лицо, и песок и тяжесть тела; песчинки перед глазами стали размытыми, утратили очертания.

Розенберг возвращался домой.

Составитель примечаний

I

Вы и не посмотрели б в его сторону дважды – да кто посмотрел бы, хотела бы я знать. Разве что эта бестолковщина – его жена – то есть, бывшая жена, и бывшая студентка, потому как только студентки и способны на такое: пялиться на его очки и мечтать принести себя в жертву науке, молодому доценту или не пойми чему. А ведь еще надо жить жизнь, между прочим. Эта-то, господи спаси, она-то что могла знать о жизни и чему путевому ее могли научить отец с матерью в этой, прости господи, Костроме, или откуда там она была родом. Одно слово, приезжая. Тонкая такая, тощая. И тоже не от мира сего – так, по крайней мере, казалось, когда она прижимала руки к груди – или к тому месту, где обыкновенно у женщин грудь, и объясняла всем и каждому, кто готов был слушать – а слушали ее не то, чтоб с удовольствием, скорей, с таким хмурым интересом, с каким у нас, в Матвеевке, слушают пришлых, иногородних – какой он, ее Сережа, умный, прекрасный, образованный и уточненный. И все это было ни к чему – я про ее объяснения. Она словно бы извинялась перед нами за то, что он такой – непьющий, некурящий, нелюдимый, знает какие-то там мертвые языки, латынь – да что латынь – древнееврейский, древнегреческий, и это нам было уж точно без толку. Нам-то на них не говорить. Пусть он и был учености не мерянной – нам-то от этого что? Спрашивается: ну что нам было до его учености, да до чьей угодно учености, когда все это без толку, и никакого отношения не имеет к нашей повседневной жизни, когда прорастает картошка, ничего не достать, на базаре – один Кавказ, и все сидят по своим углам, и о том только и думают, чтобы не было хуже. Вот и она точно извинялась – и за него, и за себя – чужая, должно быть, что нам он ни к селу, и ее, с ее слабыми руками и вечной тревогой в глазах, тоже, поди, не хватит надолго. Ну, присылали им припасы из Костромы или из Вологды, откуда к нам ее занесла нелегкая, но ведь они поди были бедны, как церковные мыши – Сереженьке ее надо было покупать какие-то книги, которыми их комнатушки, а были у них две, были заставлены до потолка, сесть-то там толком было негде. Она все зазывала нас к себе – беременная, а потом – с грудным младенцем на руках, конечно, когда мужа не было. Но только ведь это было одно: есть он, нет – оттого, что вид у него был, как у хворого. Не как у помешанного, нет, но полностью отсутствующий, будто он общается с тенями или призраками на этих, мертвых-то языках. И все-то мне хотелось спросить: нашим-то, человеческим он пользоваться, часом, не разучился? Верите, она ему писала бумажки, когда посылала в магазин – и мне, вот крест, по сию пору странно, не то, что он их мог прочесть, а то, что не забывал их вовсе, стоя в очереди, в своей лыжной шапочке: в лице не кровинки, все бессонница, все еженощные бдения за книжками, одет, конечно, так, что без слез не взглянешь, а ведь молодой-то мужчина. Если б он не то, что бумажку – голову дома забыл, я бы удивилась. Там, в его книжках, поди, было не написано, что у него – жена и сын. И – то ли он не прочел этого, то ли ему не сказали – но, похоже, он так и не узнал этого толком. Есть же такие – не от мира сего. Соберите его с книгами и лампой, перенесите за тысячу верст, и, клянусь, он не заметит, если, конечно, не крикнуть ему прямо в уши! Жаль мне было эту бедную Лизу, да как тут поможешь и чем? Это же с самого начала было ясно, что долго-то она не выдержит. И работа у него была странная: составитель примечаний. А звали его – Сергей Павлович. То есть, как я поняла, он в точности знал, что и когда сказал какой-нибудь там Плавт или Сенека – это я наслушалась от нее – ну, и когда печатали какую-нибудь книжку или полное собрание сочинений, до которых нам было дела, ровно что до прошлогоднего снега, он писал к ней примечания да послесловия, так, кажется: и она нам показывала эти книжки – гордилась своим Сережей, значит, а по мне лучше бы попридержала у себя, чем злить

людей его ученостью да начитанностью. Он-то с нами не говорил, Что ему, спрашивается, было разговоры разговаривать с нашим крайним дурачком, то ли дело плавты и сенеки. Не скажу, чтобы его ненавидели, вреда от него не было, как и проку – если он не отсутствовал в институте в своем свитере-самовязе, со своим ободренным портфелем, значит, квасился в четырех стенах, в своем закуте под лампой, все молчком, обрастая пылью, или они выходили втроем – это, я вам скажу, было зрелище. Точно у этой Лизы было двое детей – один нормальный, живой малыш, а другой – великовозрастный переросток, как бы немой от рождения, шурился все на фонари, точно вышел не из дому, а из лесу. А после – вскоре после того, как мы с ними разделили лицевые счета, больно много электричества жег ее составитель – она взяла мальчика и уехала. Мы думали – к родителям, в Кострому – Вологду или откуда она там взялась.

Это-то и было скверно. Всем нам, бабам, хочется путного мужика, чтоб жить за ним без головной боли, но была она чистый человек, просто молодая и слабая – сразу было видать по ее джинсам, ветровке, по глазам. И ушла она не вдруг. Терпела, значит, сколько могла, может, из уважения к его большой учености – или боялась, что без нее он пропадет: кто ж ему будет писать записки, поди, небось, удивлялся всякий раз, что хлеб продается в гастрономе.

Но только он не пропал.

II

Нет, он не пропал и никуда не делся.

Больше скажу: года за два до ихнего развода у него обнаружился голос – низкий, негромкий, густой, как у нашего отца Никодима. Сынишка его был еще совсем сопливый, но Сергей Павлович порешил, что тот достаточно взрослый, чтоб ему давать первые уроки. Двери-то в нашей квартире – одно название. И вот, что ни вечер, нам было слышать, как он ему зачитывал вслух про разных там героев древности, про полководцев и царей, а то часами говорил с ним на своей тарабарщине, поди, на древнееврейском, не иначе. И говорил с ним, как со взрослым (мальчик-то, понятно, молчал, только тарашился на него через стол). А Сергей Павлович все-то ему рассказывал, или зачитывал книжку в слух, и было в этом нечто неотмирное – ведь все эти цари да воители тысячи лет как истлели в прах; а раз из кухни мне было слышать, как он сынишке перечитывает речь какого-то Ганнибала, сперва по-русски, а потом то ли на латыни, то ли на каком еще языке. Я тогда поманила Лизу на кухню и говорю:

– Что ж это твой творит, Лизонька? Он что, не видит, что мальчонка еще совсем шлепобубое дитя, чтобы не то, что понимать – сидеть и слушать такое?

И тут увидела – Сергей Павлович в дверях.

– Вы, вот что, – говорит, – знайте свои кастрюли.

Тут он был прав. Каждому свое, это верно. Самое-то странное было в том, что говорил он про это прошлое так, точно оно и было-то вчера вечером, будто не мог примириться, что оно кануло без следа и никакого отношения не имеет к нынешнему нашему житью-бытью – к электричке и свалке за осыпью, где в небе кружили вороны. Это я потом поняла, что он живет в нем, будто оно никуда не делось: прошлым и в прошлом, раз навсегда, как если б его приговорили к чему-то – великому и не нужному – к какому-то подвигу, что ли, о котором позабыли и люди и мир, а он, знай себе, нес эту память с гордостью, со смирением, зная, что она нам не нужна, но веруя, что понадобится, а если нет – нам же хуже. Много, доложу вам, лет прошло, пока я это поняла ясно. Да что говорить! Сочувствовала ему, есть ведь на свете одинокие души – и причина в том, что они одиноки, есть при них женщина или нет. И уж если он служил своему великому прошлому – книжкам да пустоте – то верой и правдой, не падая духом, не ропща, молчком, говорю я вам, в своем непреклонном одиночестве. Первое время она к нему наезжала – приготовить, постирать. И приводила с собой мальчика. Вышла-то она второй раз тоже в Москве. Нашла она свое счастье, нет ли, не имею понятия. Только уважала она его не меньше, а больше прежнего. Раз, когда он отсутствовал, она меня зазвала к нему показать, сколько книжек напечатано при его участии: литературные памятники, Тацит какой-то, Плутарх – он мне потом сам показывал, лет через десять. И тоже, как если бы они вышли вчера! Я к тому времени овдоветь успела, выдала дочь за хорошего человека в Митино. Они-то – Лиза с мальчиком – давно уже не навещали его; только я иногда помогла ему по-соседски. Так и время прошло, и прошла жизнь. Только он не изменился – или почти не изменился. Все такой же был, высокий, сухопарый, с блаженным взором и лицом не от мира сего, точно замороженный зрелищем того, как какая-нибудь армянская конница в блеске, да великолепии спускается на заре на равнину, где выстроились легионы Рима. Как-то разговорились мы с ним на кухне, и я говорю: – Сергей Павлович, не в обиду, оно ведь не нужно никому, кроме вас, да хранителей музеев, да вашим студенткам – до поры, до времени, пока не поумнеют и все не пере забудут. – А он мне говорит: – Вы полагаете? Вы в церковь ходите, Любовь Николаевна? – Говорю: – Сравнил! Так ведь то церковь. – А он и говорит: – Ходите, стало быть. Стало быть, верите, что Христос был распят, и мученики претерпели за веру, и вам особой разницы ведь нет, вчера это было или тысячу лет назад, или в начале веков. То есть, иными словами, все эти деяния для вас были, есть и продолжают во времени, так? – Говорю: – Ну. – А он и говорит:

– А почему вы не думаете, что человеческая доблесть и добродетель также живы, как само слово или мысль – и Аристотель у себя в саду изо дня в день проповедует свое учение, потому что оно принадлежит вечности – не времени? Понимаете теперь? – И я говорю: – Вечности. Надо же. Но ведь не может же все принадлежать вечности, а только самое важное, нужное, наверное? – Значит, понимаете, – говорит.

Чуть не забыла. Когда Лиза перестала его навещать, мальчик-то приезжал к нему. Одно время. Так – на час-два, больше-то он не мог засиживаться, путь, видать, был не близкий. Потом перестал. Может, самому надоело, а может быть запретили – отчим там или мать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.